

Ангел на ветке

Автор:

[Вера Зубарева](#)

Ангел на ветке

Вера Кимовна Зубарева

Коллекция современного рассказа

«Ангел на ветке» – сборник рассказов и записок из блога «Нового мира» – книга о незримом присутствии чудесного. В ней нашло приют и надежно сохранилось каждое мгновение, озаренное удивлением перед жизнью. Любой рассказ, будь то «Шелковица», «Гестапо», «Ангинный ангел», «Чудо-дерево», исполнен поэзии, несет в себе свет, чистоту и оставляет в душе глубокое послевкусие.

Вера Зубарева

Ангел на ветке

Сборник рассказов

Автор выражает благодарность Владимиру Губайловскому – редактору «Нового мира» и администратору сайта Фонда «Новый мир», где размещен блог с записями, вошедшими в эту книгу.

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Зубарева В., 2019

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019

Дом и его обитатели

Повесть в рассказах

Покойница

Все так решили: если баба Марфа не умрет, значит, смерти нет. По общим подсчетам, баба Марфа жила уже второе тысячелетие и, наверное, еще дружила с фольклорными персонажами, населяющими детские сказки.

С утра до вечера баба Марфа восседала на лавочке своей открытой веранды, и при виде детей ее губы недружелюбно шевелились. То ли она молилась, то ли колдовала – нельзя было понять. У бабы Марфы жили квартиранты, которые в одной тесной комнатке родили девочку и мальчика. И опять-таки никто не знал, одобряла ли это баба Марфа или нет.

Больше всех баба Марфа не любила Леньку Штейна. Как только он приближался к ее вотчине, она угрожающе шипела и вслед за тем произносила проклятия. Поэтому, когда Ленькина бабушка умерла от рака, всем сразу стало ясно, что это

на совести бабы Марфы. Несколько раз баба Марфа пыталась и Тюпу образумить, даже ее маме говорила, что негоже такой воспитанной девочке водиться с хулиганами типа Леньки. Но Ленька никогда не был хулиганом. Просто фамилия у него была такая. Никто не понимал, при чем тут фамилия – про фамилию все узнали от Ленькиной бабушки, выбежавшей защищать единственного внука.

– Я знаю, что тебе не нравится! – кричала Ленькина бабушка неожиданно окаменевшей бабе Марфе. – Тебе его фамилия не нравится! Леня, деточка, не подходи к ней! – навзрыд бросилась она к Леньке и почему-то прижала к себе его голову, будто что-то и впрямь угрожало ее мальчику.

Баба Марфа молча смотрела мимо Ленькиной бабушки, только губы ее побелели. После этого Ленькина бабушка заболела, и у нее обнаружили рак.

Баба Марфа всегда была повязана косынкой. Очки на ее дырчатом носу увеличивали всех для ее слепых глаз. Иногда она снимала их и протирала стекла, и тогда обнаруживалась диспропорция между ее крупным пузырьчатым носом и небольшими круглыми глазами. Ее матрешкообразное тело было обряжено в несколько юбок, и при медленном переползании от веранды к дворовому туалету эти юбки поднимали вверх весь внутренний запах бабы Марфы.

Баба Марфа сидела неподвижно на своей лавке как монумент вечности, и триста шестьдесят пять дней в году считались ей за триста шестьдесят пять лет. Она не мешала Тюпе и ее друзьям. Она была всего-навсего объектом их большого детского эксперимента. Ни смерть Ленькиной бабушки, ни какая другая смерть не могли их убедить. Все эти смерти выглядели случайностями, их могло и не быть. Только бабы-Марфина смерть могла положить конец сомнениям относительно закономерности человеческого конца.

Потом началась холера. У всех брали мазок, а кто не являлся сам, к тому присылали медсестер. Появление медсестер во дворе было понято однозначно, и все сгрудились возле бабы-Марфиной веранды. Вовка по кличке Козел изображал разъяренную бабу Марфу, Ирка шикала на него, поскольку баба Марфа была ее крестной, но тоже хихикала, Ленька был безразличен, а Тюпа наблюдала за каждым из них.

Из комнат неслись ругань бабы Марфы и строгие возгласы медсестер. Вскоре сестры вышли с суровыми лицами исполненного долга, и это выставленное на общее обозрение унижение бабы Марфы вдруг лишило ее нимба избранности.

С того дня время для нее пошло на убыль, словно вечность очнулась от забвения или колдовства и вспомнила, что у бабы Марфы есть свой земной век.

Сначала бабу Марфу парализовало. Это было жарким июльским вечером. Все собрались около ее веранды и слушали сводку о ее здоровье от квартирантов. Баба Марфа пролежала два дня и скончалась, тоже под вечер. Всем разрешили попрощаться с ней. Даже Ленька пошел. Ему интересно было постоять возле смолкнувшей навсегда бабы Марфы. Тюпа в глубине души опасалась, что старуха откроет глаза, как в кино, и причинит какой-нибудь вред Леньке. Но, как бы ни была велика ненависть бабы Марфы, она не смогла пересилить своей собственной смерти. Баба Марфа не открыла глаз и не прогнала Леньку. Может быть, она удовлетворилась злом, причиненным некогда его бабушке.

После смерти бабы Марфы время пошло как-то быстрее. Короче стали летние каникулы, и переход из класса в класс уже не казался вечностью. Никто больше не вспоминал о бабе Марфе, по крайней мере вслух, но каждый в глубине себя открыл какую-то уязвимость.

Пьяница

Олька бросила пить. Эта новость передавалась из уст в уста, как миф. Взрослые светлели лицом, а детям было и любопытно, и грустно одновременно. Когда Олька проходила своей мужицкой ровной походкой по двору, дети тарасились изо всех сил, стараясь уловить малейшие особенности ее трезвой фигуры. Но в этом было гораздо меньше интереса, чем разглядывать Ольку пьяной, карабкающейся по стенке к своему подвалу.

У Ольки не было семьи, но у нее когда-то был брат, который тоже пил, пока не погиб, разгружая машину с бочками. Остались только Олька и ее парализованная мать, у которой тряслись руки и голова, как иногда у Ольки на следующий день после пьянки. Потом и Олькина мать умерла. А Ириночка – чистенькая девочка, дочь покойного Олькиного брата – иногда навещала Ольку.

Тогда Оля превращалась в тетю Олю, теряла свою безродность и была полдня почти наравне со всеми семейными людьми.

Потом, как правило, Оля валялась под собственной дверью, обессиленная попытками попасть ключом в замочную скважину. Ее громкая ругань разносилась по двору, и это помогало Олье обрести дом, поскольку кто-нибудь да выбегал, чтобы впихнуть бранящуюся Ольку в темное логово ее земляной квартиры.

Когда Оля бросила пить, пропал весь интерес. Мужчины сразу же стали находить ее привлекательной, женщины пустились обсуждать с ней, какой цвет ей к лицу. Оля по-мужицки громко хмыкала и повторяла на весь двор все то, что ей советовали деликатным шепотом.

У Ольки были серые глаза и расплющенный нос, чуть треснутый посередине. В пьяной все это не имело значения. Ни ум, ни красота не играют решающей роли для характеристики пьяного человека. Даже тяжелая Олькина походка не бросалась в глаза в дни запоя, оттого что Оля по большей части ползала.

Трезвость же, напротив, имела свои существенные минусы для Ольки. Прежде всего, переход к трезвости для нее был равносителен переходу от правды ко лжи. Оля привыкла жить по правде. Она не придумывала себе никакой походки, не скрывала недостатков своей фигуры. Валяясь в канаве своего коридора, она орала то, что думала обо всех и вся. И ее запаса слов ей вполне хватало.

В трезвости Оля стала как ребенок. Ей нужно было выучиться ходить и говорить. Она глупо пялила свои сорокалетние глаза на мужчин и женщин, расхваливающих ее, не зная, что им сказать, и, по-видимому, принимая все за чистую монету. Поначалу все чувствовали себя неловко, но вскоре и сами поверили в то, что говорили.

Оля стала общей питомицей. С ней нянчились больше, чем с собственными детьми. Ее одели и обули, привили ей сносные манеры и уже подумывали над тем, что же с ней делать дальше.

Мысль о поиске жениха пришла в голову всем почти одновременно, и ее стали активно обсуждать двором.

Олька становилась все менее интересной детям. Даже слухи о приближающемся жениховстве уже не возбуждали их. Это взрослым нужны были острые ощущения и развитие фабулы. Для детей же все становилось очень обыденным. Замужняя Олька в их глазах – это была последняя стадия потери индивидуальности.

Загадочный жених все не материализовался. Тем не менее в воздухе витали какие-то флюиды его грядущего появления. Олька ходила по двору с вопросительной улыбкой, будто кто-то издали тайно наблюдал и оценивал ее. Чистенькая Ириночка дважды приходила к ней, и Олька бегала покупать торт. Второй раз Ириночка пришла со своей матерью и ее новым мужем с ребенком.

У Ириночкиного сводного братика была болезнь Дауна, но Ириночка рассказывала всем, что это произошло с ним после смерти матери, которую задушила жаба. Братика звали Валериком. Он был даже чем-то похож на своего отца, только очень добрый. Белокурая красавица Лида устало принимала поздравления двора то ли насчет своего замужества, то ли насчет Ольки и приглядывала за Валериком. Потом они ушли, и у всех остались очень хорошие впечатления.

Все шло к счастливой развязке. У Ольки перед глазами был пример ее золовки. Это всех еще больше воодушевило, и разговоры об Олькином устройстве приняли самый серьезный оборот.

Идея замужества так захватила всех, что сама Олька отошла на задний план. Стратегии предлагались одна ярче другой. Кому-то даже пришла в голову мысль перекрасить Ольку в яркую блондинку. За эту идею ухватились с особенной силой из-за реальности ее осуществления. Всем казалось, что это приблизит приход жениха, не потому что Олька станет краше, а потому что магия осуществления одного, пусть маленького, дела непременно перекинется и на другое, более значительное.

Ольке нашли парикмахершу Соню, мастера по мужской стрижке, которая за копейки согласилась в обеденный перерыв заняться Олькой. Ольке было все равно – идти в мужскую парикмахерскую или женскую. Она привыкла всю жизнь пользоваться дворовым туалетом, никогда не вдаваясь в подробности о том, кто находился за соседней стенкой. Такая Олькина неприхотливость еще более располагала к ней двор.

Ольку постригли и перекрасили. Попутно ей сделали маникюр и надушили не очень резким одеколоном. Когда Ольга вошла во двор, все высыпали, как по команде, наперебой высказывая Соне свое восхищение. Ольга стояла посреди двора нарядная и неуместная, как новогодняя елка в мае, и гуляющая Муська, словно сжалившись, подарила ей свою красную помаду. И только Никифор почему-то тихо обозвал Ольку Мэрилин Монро и ушел к себе.

Постепенно все разошлись, а она все стояла, ожидая то ли следующей команды, то ли обещанного жениха.

– Иди, Олечка, домой, – сказала ей Наталья Филипповна, соседка, живущая за смежной стеной. – Иди, детка, отдохни, – прибавила она совсем по-матерински.

Ольга повернулась на своих каблуках и мешком заухала по ступеням в подвал.

На следующий день она валялась пьяная и свободная, хлюпая квадратными ладонями по только что собравшейся луже и выкрикивая неприличные слова в неизвестно чей адрес. Ее подбородок и щеки были пугающе красными, и кто-то бросился оказывать ей первую помощь. Но оказалось, что это была Муськина помада.

Вечер

Улица после дождя постепенно обретала яркость, будто переводная картинка, с которой снимали верхний мутный слой. Проявлялись куски яркого неба, зелени, красноватых крыш. Неровности асфальта были тщательно заглажены лужами, и от этого тротуар напоминал гигантское разбитое зеркало.

В комнате громко стучали настенные часы. Маятник скакал, как метла в руках проспавшегося дворника. Лихо сметались соринки-секунды, должно быть, расчищая дорогу какому-то важному гостю.

– Шика, посмотри, что делает ребенок, – приподнявшись на подушках, попросила больная.

На потолке заколыхалось озерцо света от надпитого и поставленного на табурет стакана с водой.

- Тюпа, что же ты делаешь!

- Что она делает? - заволновалась больная. - Я ведь говорила, что ребенка нельзя оставлять одного на балконе.

Тюпа обсасывала влажную закорючку на решетке и жмурилась от солнца. Она представляла себя возле фонтанчика в парке, куда любила ходить с родителями на выходные и кататься на качелях.

- А ну-ка иди сюда! Ты чего это решетку облизываешь? - спросил вполголоса седой, бодрого вида человек, уводя ее в комнату. - Милечка, не волнуйся, - громко сказал он, - все в порядке.

Посреди комнаты белым торжественным облаком клубилась пуховыми подушками кровать. Она несла в себе больную, которая тоже была похожа на облако, только поменьше. Такое тонкое, бледное облачко, на котором можно было разгадать седые волосы и очертания тела. Тюпа, не отрываясь, смотрела на больную, думая о чем-то своем.

- Что ты?.. - спросила больная, заметив ее пристальный взгляд.

- Давай я тебе спою. Хочешь? - предложила Тюпа и, не дожидаясь ответа, затянула какую-то мелодию.

Соседи любили ее, как родную внучку, и она иногда устраивала им домашний концерт.

Тюпа старательно выводила одну мелодию за другой. Тем временем больная высыпала себе на ладонь такого же облачного вида таблетки и запила их солнцем из граненого стакана.

День плавно, вместе с Тюпой и землею, двигался по часовой стрелке туда, где спадала жара, и ветер сдувал разомлевших мух с мусорных ведер.

Размахивая помойным ведром, Тюпа шагала через двор, где предстояло вывалить содержимое в бак для отходов.

- Чего это ты сегодня там распевала? – спросил ее Сережка, одногодок из подвала.

- Да так, пела себе... – неохотно отвечала Тюпа, позабыв уже об этом утреннем эпизоде.

- А я внизу сидел, все слышал.

- Ну и что?

- Просто так. Целый день никто не выходил. А я сидел вот...

Тюпа вспомнила движение одной мелодии и закружила вместе с ведром к помойке. Когда она возвращалась, Сережка, уже не обращая на нее внимания, отколупывал кусок мела от стены.

- А знаешь что, – сказал он ей вслед, – хорошо, что ты пела ей сегодня.

Тюпа обернулась и махнула ему рукой:

- Пока.

Вечер съедал яркую шелковицу с темнеющей листвы. Шелковица была вровень с Тюпиным окном. Тюпа высунулась и посмотрела с высоты второго этажа на Сережку, по-прежнему колупающего мел. Ей стало жаль, что он никогда не видит из своего подвала, как исчезает шелковица вечером и стоит кучевым облаком над двором до самого утра.

Солнце село. За стеной старенький сосед заходил бодрой походкой. В доме было торжественно и сумеречно. Тюпа не зажигала света, а все смотрела из окна поверх крыш, где прояснялись первые звезды. Она мельком увидела, что и Сережка задрал куда-то голову. Потом он стал размахивать руками, словно желая привлечь чье-то внимание. Тюпа думала о том, кому это там Сережка машет, и все смотрела и смотрела на меняющееся небо.

Двор наполнился чужими голосами. Внизу проплыли какие-то люди в белых одеждах.

– Эй, – подал голос Сережка, – эй! – Он жестами указывал на этих людей, почему-то идущих по направлению к Тюпиной квартире с носилками в руках.

Шаги за стеной участились и умножились, будто у соседа выросло несколько дополнительных ног. А может, и впрямь выросло? Или, может, баба Миля расколдовывалась после захода солнца и встала, наконец, с постели и они вместе теперь ходят по квартире, радуясь ее освобождению из облачной кровати?

Сережка продолжал жестикулировать. По двору снова прошли люди в белом, только уже медленнее и в обратном направлении. На носилках у них тихо покачивался холмик, полностью накрытый простыней. Сережка застыл с поднятой кверху рукой, провожая их взглядом.

Тюпа улыбнулась ему и закрыла окно.

Шелковица

Во дворе росла шелковица. Ее ветви запросто дотягивались до второго этажа. Она была статная и сильная и с легкостью переносила любые шторма и засухи. Кроме того, шелковица была благородным деревом и в трудную минуту протягивала руку помощи болезненному абрикосовому дереву, постоянно вынашивающему червей в своих зелененьких бутонах.

Если плоды отражают душу дерева, то шелковица имела душу щедрую и благодатную. Тюпа всегда подозревала, что абрикос исподтишка завидовал широте шелковицыной души. Абрикосовые плоды использовались детьми исключительно в лабораторных целях. Они анатомировали злобно-желтенькое тельце какой-нибудь усыхающей абрикоски и таким образом изучали скрытую жизнь очередного червивого семейства.

По форме плоды шелковицы напоминали выпуклые соты, наполненные темным сияющим нектаром, который сам проливался в рот, стоило лишь шелковице пошевелиться. Она давала отведать их каждому, кто желал, не требуя ничего взамен. Все любили шелковицу, кроме Никифора, возле дома которого она росла. Поначалу Никифор хотел оградить ее забором, чтобы никто не собирался возле его калитки. Мухи и дети были для Никифора нестерпимы, потому что ни те ни другие не понимали права на собственность. Кусок земли возле дома Никифора был его собственностью, а шелковица эту собственность разрушала, собирая вокруг себя неуправляемые элементы. Мало того, она еще своими корнями вращала Никифору в подвал, чего Никифор никак уж не мог снести.

Вдобавок ко всему абрикос частенько наушничал Никифору на шелковицу, на ее дружелюбное отношение к детям. А за это Никифор опрыскивал абрикос специальным ядом, который тот принимал, как король – по каплям, чтобы адаптироваться на случай покушения.

Сквозь шелковицу очень здорово было смотреть на луну, когда та катилась по бугристым облакам и раскачивалась в гамаке шелковичных ветвей. По ночам луна лакомилась шелковицей, и ее щеки, как Тюпины, все лето были в темных шелковичных пятнах.

Никифор должен был ненавидеть луну наравне с мухами. Поздними вечерами он выходил за свою калитку, когда ему думалось, что все уже спали, и шевелил палкой шелковичные ветви. Так он хотел отогнать луну. Но луна лишь искоса поглядывала на него и продолжала есть шелковицу до самого рассвета.

И когда Никифор понял, что он не в состоянии бороться со вселенной, то решил покончить с шелковицей.

Целый день дерево мелко дрожало ветвями, как от озноба, и беспрестанно сыпало на землю свои плоды. Поначалу все радостно хватали щедрые дары, но потом даже мухи насторожились и перестали жужжать вокруг раздавленных лакомств.

Дети стояли, задрвав головы, и беспомощно смотрели, как лихорадило их дерево. К вечеру шелковица вздрогнула несколько раз и как-то странно застыла окостеневшими ветвями.

Ночью подплыла луна и несколько раз внимательно оглядела шелковицу, прижалась к ее стволу, но шелковица не пошевелилась. Скрипнула дверь, и длинная тень Никифоровской палки перечеркнула двор по диагонали. Луна испуганно отскочила от ствола и стремительно унеслась в середину неба. Никифор же спустился в подвал и ощупал отравленные мертвые корни своей жертвы, чтобы лучше уснуть.

Все утро и весь день шелковица стояла со своими судорожно простертыми к небу ветвями. Она почернела и потрескалась, и на следующий день ее спилили, дивясь скоропостижной кончине дерева.

А еще несколько дней спустя кто-то разбудил Никифора невероятно громким шелестом. Тюпа тоже не спала. Она видела из окна, как он выскочил с палкой в руках и по привычке направил ее в сторону, где росла шелковица. Но шелковицы не было, а шелест все усиливался, и Никифор, наконец, увидел, как в лунном сиянии безудержно цвело червями абрикосовое дерево. Он бросился в подвал, схватил канистру с ядом и помчался поливать разросшийся абрикос. Но от этого абрикос лишь пуце прежнего запенился, и Никифор понял, что уже никогда не сможет остановить этого цветения.

Тогда он сел на землю, прямо в лужу с ядом, и завыл на луну. Высунулся сосед сверху и с ругательствами запустил чем-то в Никифора, путая его с бродячей собакой. Никифор заскулил, но выть не перестал.

Луна скатилась ниже и посмотрела Никифору в глаза. Никифор опустил низко голову и продолжал сидеть, пока луна не скрылась за облако. А потом случилось чудо – облако вздохнуло и превратилось на глазах Тюпы в шелковицу. Подсвеченная изнутри луной, шелковица склонила к Никифору свои ветви, помогла ему подняться из лужи с ядом и проводила его к самой калитке.

Никифор всхлипнул в последний раз, открыл калитку и оглянулся на шелковицу. Она закивала ему всеми ветвями и подтолкнула в дом.

Две тени

Когда Тюпа проходит по коридору своей коммуналки, в нос ударяет запах преющей луковой лушпайки. «Лушпайка» – так называет Тюпина соседка, тетя Витя, жицицу от овощей. Мусорное ведро стоит под умывальником. Солнце из прихожей всегда благоволит к этому умывальнику: белая эмалированная раковина – единственно яркое пятно в затемненном узком коридоре, на продольной стене которого вытянулось мутное зарешеченное окно.

Вид из окна упирается в нечто сплошное, серое, тоскливое, по мере Тюпиного взросления превращающееся в обыкновенную глухую стену дворового туалета, за которой всегда творится что-то нехорошее, темное, стыдное. Об этом можно судить по звукам тусклых и злых мужских голосов, утопленных вместе с их обладателями в булькающей перистальтике дряхлеющей канализации. Иногда они гоняют крыс, бранясь непонятными словами. Но Тюпа их не слушает. Она отправляется на розыск двух теней, которые то появляются, то исчезают в пространстве дома. Никакие голоса снизу не могут отвлечь ее от этого поиска.

С утра две тени ждут ее посередине между сном и явью, когда она идет к умывальнику, чтобы смыть остатки сновидений с ресниц. Она пытается продлить этот момент окончательного пробуждения и получше разглядеть их, но чем больше она старается, тем быстрее они размываются в рассветной млечности коридорных стен.

Вечерами две тени вновь дают о себе знать, тревожно вибрируя на дверях и половицах. Они словно шлют какие-то знаки Тюпе, хотят поведать о чем-то, предостеречь ее. Интересно, от чего?

Возле чердака, почти дверь в дверь, уютится комнатка. Она служит кладовкой и всегда заперта на замок. Однажды Тюпе все же удается заглянуть в нее, когда тетя Витя отпирает дверь ключом, чтобы что-то достать. Комнатка не таит в себе никакой тайны – это скучный квадрат с потрескавшимся кожаным диваном у стены и амбразурного вида оконцем, выходящим на крышу. Кусочек облачка и несколько черепиц – вот все, что умещается в этом оконце.

Тюпа вспоминает, что когда-то слышала краем уха о матери с дочерью, которые делили эту комнатку много лет назад. Их приютили Фукочка с бабой Милей, старшей покойной сестрой тети Вити. Это произошло в какое-то страшное и опасное время, о котором всегда многозначительно помалкивали в доме. Женщины жили там так долго, что и дочь уже состарилась. Ее звали как Эльзу из сказки братьев Гримм. Только у нее не было братьев, и она была некрасива и

одинок, хотя жизнь с матерью, с которой она делила окно и диван, делала ее одиночество чисто умозрительным.

Неизвестно, почему они задержались в той комнатке почти на целую жизнь. То ли свыклись с каморкой, то ли страшное и опасное время в силу своей анонимной неопределенности никак не заканчивалось. Даже и в Тюпиной памяти остался некий проблеск, связанный с их пребыванием: керосинка на лестничной клетке и горбоносая худая женщина в повязанной рожками вперед косынке. Всякий раз, пока на керосинке что-то кипело, женщина вытаскивала из-за пазухи затертый треугольник письма и читала, и читала, вытирая концом платка щеки. Может, это было письмо от ее братьев-лебедей из сказки Гриммов. А может, эта была одна из сказок времени. Время ведь тоже сочиняет сказки и истории, которые потом собирают в книги и учебники с картинками, называя их историей. История – это для взрослых, истории – для подростков, а сказки – для детей. Для Тюпы это пока что сказка о двух женщинах, исчезнувших однажды из чердачной каморки, как исчезают герои прочитанных и забытых книг.

Со временем Тюпа свыкается с тенью, как свыкаются с соседями или надоедливыми соседскими кошками, и перестает их замечать, но время от времени она мысленно возвращается к их грустной тайне. Один раз, уже в школе, она даже залезает в учебник с историями, который оставил на парте один старшеклассник. Но из бегло прочитанного ей не удастся почерпнуть ничего, кроме радостного. Так что в конце концов Тюпе приходится прекратить свой поиск.

Иногда она все же думает о них, делая домашнее задание, и в эти моменты ей кажется, что их тени касаются края стола и пробегают по странице. Вслед за этим всегда раздаются хлопки крыльев. Наверное, это голуби, которые приносят и уносят тени двух женщин.

Физиология любви

У Ириночки было два поклонника. Один очень красивый, в которого Ириночка была влюблена, а другой – просто так, рыжий, полноватый, учившийся в мореходке. Тот, первый, по имени Гера, почти не обращал на Ириночку внимания, а рыжий Славик, наоборот, ходил за ней по пятам. Однажды Ириночка

осталась совсем одна дома, на целых две ночи. И все про это знали. Но пришел только Славик.

Тюпа никак не могла понять того, что рассказывала ей об этом Ириночка. То есть в общих чертах было все ясно, но когда Ириночка приступала к деталям, все невероятно запутывалось. Особенно непонятной оставалась подробность, связанная с Ириночкиными трусами, в которых она, по ее словам, оставалась до конца. Эти трусы спутали Тюпе все. Ее шестиклассного образования явно не хватало, чтобы понять направленность Ириночкиных маневров. Спрашивать же ничего было нельзя, потому что Ириночка вертела указательным пальцем у виска и трагическим шепотом спрашивала:

– Ты что, совсем?

Тюпа поняла самое главное, что теперь Ириночка страдает, и страдает сразу по двум. Рыжий Славик в конце признался ей, что это Гера надоумил его подлезть к ней. Гера когда-то положил Ириночке руку на что-то, и такая Ириночкина доступность дала ему право «продавать» Ириночку друзьям.

– Но этого ведь не было, не было! – упорно твердила Ириночка.

Теперь выходило, что ни один из них Ириночку не любил, а просто все было из интереса. Самое неприятное, что рыжий Славка тоже начинал нравиться Ириночке, но он уже не бегал за ней как прежде.

Однажды Ириночка прибежала к Тюпе взволнованная и сообщила, что она сказала родителям, что идет к ней. На самом же деле наконец-то объявился Славик, и вечером они отправляются в парк.

В начале одиннадцатого Ириночка уже была снова у Тюпы и рассказывала о Славике, о том, как он скучал по ней и как она была неправа насчет него раньше.

– Он милый, милый! – восклицала почти со слезами на глазах Ириночка.

Но Тюпа вспоминала флегматичного невыразительного Славика, с нехорошей стыдливостью попросившего ее вызвать Ириночку в парадное, и помалкивала.

Ириночка говорила без конца о том, как ей трудно жить дома и какой беспросветный debil ее названный братик. Она уверяла Тюпу, что Славик – единственный просвет в ее жизни.

– А что вы делали целый вечер? – все же осмелилась поинтересоваться в паузе Тюпа.

– Мы пошли на скамейку.

– Ну?

– Ты что, не понимаешь? – Ириночка озверело закрутила указательным пальцем у виска.

В конце концов все прояснилось. Славик решил разделить Ириночку с Герой, и Ириночка от этого очень мучилась, потому что не знала, хорошо ли это и не будут ли они ревновать друг к другу.

– А как же ты будешь с ними встречаться, по очереди, что ли? – забывшись, спросила Тюпа. Но Ириночкин палец уже угрожающе завис в воздухе.

Кончилось тем, что Ириночка неожиданно поступила в медицинское училище, и оба ее поклонника уважительно отстали от нее. Она даже не успела попереживать, поскольку ей пришлось сразу же включаться в зубрежку всяческих органов.

Наташа Кирилина

Всем предназначалась жизнь обыкновенная: школа с ее парализованными коридорами, столовка с высунутыми языками колбасы из булочек и огромная белая, как пирожное безе, буфетчица.

Идешь по коридору мимо дежурного с красной повязкой на рукаве по лестнице мраморной, осторожно, прямо к буфету, где толкаются и жмутся друг к другу не столько голодные, сколько уставшие от порядков соученики, и с замирающим

сердцем ожидаешь звонка на урок. Кто-то подисциплинированной сразу же уйдет, кого-то контрольная подгонит, а оставшиеся с наслаждением выберут самое вкусное и, пачкаясь в крошках и жире, побегут в класс.

Наташа Кирилина никогда не стояла в буфете. Наташа Кирилина стояла на мраморной лестничной клетке возле высокого безразличного окна и смотрела вдаль. И булочек с колбасой она не ела, а вместо этого спускалась на второй этаж, в школьную библиотеку, где библиотекарьша всегда с восхищением встречала ее.

- Наташенька, что нового? - спрашивала ее Рената Олеговна.

И Тюпа, случайно оказывающаяся в библиотеке в то время, когда туда заглядывала Наташа, замороженно прислушивалась к разговору, не пытаясь даже вникнуть в смысл того, о чем говорила Наташа. Потом Наташа уходила, и впечатленная Тюпа шла к самым дальним полкам и выбирала самую сказочную историю, несоответствующую ее возрасту.

До переезда Тюпиной семьи они жили в одном дворе с Наташей, но Наташа обходила стороной игры и посиделки. Иногда она все же спускалась с высоты своего старинного четвертого этажа, и все от этого вдруг начинали чувствовать себя беспородными и коллективными. Дети бегали вокруг нее, смеялись, показывали, какие они веселые и дружные, а когда она уходила, сразу затихали и неизвестно почему грустили. Всем хотелось в душе, чтобы она пришла еще раз, но никто не мог вот так запросто крикнуть в ее окна: «Наташа, выходи!» - подобная фамильярность по отношению к ней была немыслима.

Как-то раз учительница по музыке велела Тюпе взять ноты у Наташи, чтобы разучить какую-то малоинтересную музыкальную пьесу (они ходили в одну музыкальную школу). Тюпина мечта была сыграть «Слезу» Мусоргского так, как ее играла Наташа, но до этого ей нужно было проучиться по меньшей мере еще полтора года. Наташа была любимой ученицей. Тюпа была второй. Тоже музыкальной, старательной, но часто смазывающей скучные пассажи, из которых Наташе всегда удавалось сделать праздник. Урок заканчивался, Наташа уходила, а ее исполнение долго звучало, и Тюпа с учительницей с грустью вслушивались в тишину классной комнаты, не желая начинать новый урок.

Наташа с радостью согласилась отдать Тюпе свои старые ноты, и после восхождения на четвертый этаж они обе оказались в темной коммуналке с длинным коридором и шипящей соседкой, которая поспешно скользнула во мглу, шурша войлочными тапками.

Комната, в которой жила Наташина семья, была просторной, с высоким потолком и стеклянной дверью на скульптурный балкон. У стены стояло пианино, валялись какие-то ящики с обувью, которую привозил на продажу зять Наташиной мамы, моряк, муж старшей сестры. На клавишах были пыль и свет. Наташа опустила палец и стерла пыль и молчание. Клавиша тихо замычала, как человек в раздумьях, и смолкла, наполнив комнату вибрациями задумчивости.

Нот на месте не оказалось, и Наташа повела Тюпу в маленький чуланчик, из которого ей соорудили комнату. Ни у кого из детей во всем дворе не было такой комнаты – совсем самостоятельной, никак не сообщающейся с родительской. Это было настоящим маленьким чудом, дверцей в Наташину тайную жизнь, в которую Тюпе, наконец, довелось проникнуть.

Оконное стекло чуланчика, выходящего на лестничную клетку, было покрашено белой масляной краской, и от этого освещение в комнате было матовым, как в снежный день. С лестничной клетки доносились шаги и голоса, по окну проплывали чьи-то тени, а внутри царило умиротворение и полная отгороженность от внешнего мира. Огромный для размеров чуланчика диван занимал почти все пространство. Над ним, на белой стене, красовался портрет Васи, которого Наташа любила.

Наташа взглянула на Васю и томно потянулась к секретеру за нотами. За дверью снова прошуршала соседка, и послышался звук льющейся воды.

– Вот, – Наташа протянула Тюпе ноты и снова взглянула на Васю.

Тюпа поблагодарила и ушла, унеся с собой ноты, окно и Васю, и пьеса, которую ей велено было разучить, уже не казалась ей бессмысленной и скучной.

Однажды летом, когда, высунувшись в ночь, Тюпа разглядывала из окна низкие звезды, путая их с самолетами, она увидела, как на Наташиной кухне зажегся свет. Окно казалось подвешенным вровень с луной, и на этой луноподобной планете отчеканились два силуэта – Наташин, с волосами на прямой пробор, как

у Джульетты из фильма, и истуканистого Васи, никак не отвечающего на Наташины объятия.

Вася был из благородной профессорской семьи, и ему устраивались скандалы за эту связь с дочкой портового грузчика. Да, там, в другом измерении, топталась и попиралась тайна Наташиной необыкновенности. В том, чужом, мире на Наташе лежало клеймо ее родословной, и никто во всем дворе не мог этого понять. За эту отвергнутость ореол вокруг Наташи сделался только сильнее, и интерес к ней поддерживался какое-то время, пока жизнь не свернула в свое обывательское русло и все вдруг забыли Наташу, вернее, ее образ. А если и вспоминали, то говорили о ее неудачном замужестве, о ребенке и прочих обыденных вещах, никак не согласующихся с Наташей.

Однажды, когда Тюпа уже жила в новом районе, она встретила Наташу в городе, и та потащила ее к себе посмотреть на ребенка. Теперь Наташа носила очки и ярко красилась, словно пряча от посторонних свою неповторимость, как прячут дорогую картину, замазывая ее какой-то копией. По дороге Тюпа узнала, что, невзирая на родословную, Наташе все же удалось поступить на английское отделение университета, а через год Вася бросил ее с ребенком и будущим дипломом.

– Я так рада, что мы встретились! Это такая удача! – восклицала Наташа, пока они поднимались по мраморной лестнице с мертвым голубем в осколках разбитого окна.

Соседка уже умерла. Чуланчик был на замке. Отец Наташи ушел на пенсию и теперь пил дома.

– Проходи! – счастливо улыбнулась Наташа.

Посреди комнаты с брошенными где попало вещами и грязной посудой на столе стояла кроватка с ребенком. Тюпа поздоровалась с Наташиными родителями. Мама, узнав ее, кивнула, а отец продолжал сидеть молча на кровати у стены. Ребенок еще спал. Наташа подошла к кроватке и потрогала девочку.

– Наташка, не буди ее! – рассердилась мать.

Но Наташа продолжала улыбаться, а ребенок уже тянулся к ней с закрытыми глазками.

– Посмотри на нас, посмотри! – приговаривала Наташа, обращаясь скорее к ребенку, чем к гостье.

Девочка окончательно проснулась и что-то слабо пролепетала. Тюпа наклонилась над кроватью и увидела уродца с огромной челюстью и скошенным лбом.

– Может быть, что-нибудь еще удастся исправить, – беспечно проговорила Наташа, явно празднующая свое материнство.

Вскоре Тюпа попрощалась с Наташей и, стараясь не оглядываться на свой прежний двор, зашагала прочь. Она боялась, что виноградная лоза, оплетающая ее балкон, засохла и небо в проеме крыш потускнело, боялась услышать чужие голоса и увидеть в том окне, из которого она некогда наблюдала за луной и Наташей, незнакомое лицо или просто пустоту.

Лизавета Сергевна

Лизавета Сергевна с томиком в руках плывет алым дирижаблем по коридору. Ее шелковый капот надувается от воздуха, проникающего сквозь щели в окнах и стенах. Если бы не Лизавета Сергевна, никто бы и не заподозрил, что в этих щелях живет столько воздуха. Лизавета Сергевна, как бунтарь, в своем почти багряном в сумерках коридора одеянии возмущает скрипучую архитектуру дома.

Вот она опять восходит на небосклоне коридорных потемок, направляясь в ванную, где будет шуршать своими изношенными шелками и страницами, вздыхать, звякать о зеркало и заполнять собою цвета слоновой кости ванну, драгоценную от времени и трещин.

К зиме пунцовый капот превращался в зимнюю мечту о деликатесе – фруктовый, нежный от долгого варения, консервированный компот, в котором Лизавета Сергевна плавала, как тщательно вываренный обрезок персика. Тюпа смотрела

на нее и мечтала о вишневом сиропе, который на праздник будет разлит по чашкам, уже разбавленный, чтобы всем хватило, и вместе со снегом за окном и похожей на пряничный домик елкой будет усиливать чудо.

В сезон простуд, в это святое время отдаления от атеизма школьной жизни, Тюпа брала Майн Рида в морковно-розовом переплете и отправлялась на далекие берега Миссисипи. Ей почему-то казалось, что и Лизавета Сергевна читала такую же розово-морковную книгу там, у себя за стеной, и Тюпа мысленно приглашала ее попить чай на веранде с Всадником без головы. Но Лизавета Сергевна со скрипом вставала со своего дивана и высокомерно отправлялась принимать ванну, предпочитая бивни убиенных слонов Ниагарскому водопаду.

Парадокс заключался в том, что там, в глубоком снегопадном детстве, Тюпе казалось, что ее тайная жизнь протекала на берегах Миссисипи, где плантации и всадники сменяли друг друга под пальцами Лизаветы Сергевны. Но по прошествии времени, находясь в филадельфийской близости к географии своей тайны, она вдруг поняла, что «Миссисипи» было псевдонимом ее детской жизни, а настоящее имя той жизни было «Лизавета Сергевна».

Вот она лежит на своем диване с морковно-розовой книгой в руках – точь-в-точь как в том небывалом детстве, и Миссисипи колышется у нее под рукой.

– Полноте, Лизавета Сергевна, уже двадцать первый век за окном! Да и вас лет пятнадцать как нет...

Но она лишь крепче ухватилась за книжку, понимая, что это и есть ее спасение, ее шанс на бессмертие.

– Послушайте, Лизавета Сергевна...

На минуту она пугается, глядит напряженно вверх строчек в черный коридор Тюпиных зрачков, где уже начинают гулять сквозняки, но тут же спохватывается и цепко, намертво впаивается в строчки. И уже никому и никогда не удастся расчленивать этот сплав.

Чужая

Было обидно, когда тетя Витя не узнала ее. Она открыла дверь, и солнце вспыхнуло вокруг Тюпиного лица. Тюпа для нее оказалась куском сплавленного света. Тетя Витя долго прикладывала ладонь козырьком ко лбу, пытаясь найти то положение, при котором можно было бы разглядеть гостя. Тюпа же считала, что тетя Витя должна была узнать ее немедленно, невзирая ни на свет, ни на катаракту – как Фулочка узнал её перед смертью. Он уже никого не узнавал тогда, даже собственного сына. А ее узнал! И тетя Витя должна была узнать ее чутьем, как узнают очень близкие люди очень близких людей. Но она все смотрела на Тюпу под разными углами и наконец спросила:

– Кто это?

– Тетя Витя, это я. Не узнаешь?

Тут она, конечно же, схватила Тюпу за руки и, все еще слепо шурясь в ее сторону, потащила к себе.

Вместо Тюпиной семьи уже жили новые соседи, а вместо Фулочки тетя Витя взяла молоденькую квартирантку, приехавшую учиться из деревни. Они уселись на тети-Витину тахту, ту самую, на которой Тюпа в детстве смотрела телевизор и на которой тетя Витя раскладывала колоду карт и гадала на «королей». Напротив тахты по-прежнему громоздился старый платяной шкаф, в чьи загробные потемки Тюпа отправлялась в детстве в надежде отыскать потайной ход в загадочное пространство теней и шорохов.

По утрам она вбегала в эту комнату, за полчаса до детского сада, где ее ждал Фулочка с очередной сказкой. Когда-то он прозвал ее Тюпой, а она его Фулочкой, и смысл этих прозвищ был понятен только им.

Иногда ей снится, как она выскользывает из своих комнат и бежит по скрипучим половицам коридора, толкая дверь в эту комнату:

– Фулочка, расскажи сказку!

За дверью никого нет. И ничего нет. Там гуляют ветра, и Футочка уносится, как сухой лист, в какой-то другой сон.

...Теперь из всего многоликого прошлого осталась лишь тетя Витя. Держа Тюпу за руки, она оживленно рассказывала ей про свою новую квартирантку, какая она милая и приличная и какой у нее воспитанный жених, снимающий обувь у порога.

Эта чужая девочка поселилась в комнате с балконом, где виноградная лоза покрывалась медовыми осами в июле, где часы на стенке показывали еще время Тюпиного детства, где старый буфет хранил запах бабы-Милиных капель. Она жила здесь без прав на родство, как незаконный перебежчик. Все, все отторгало квартирантку в этих стенах. Тюпа слышала, как половицы неприязненно скрипели под ее ногами, как стулья преграждали ей дорогу в тети-Витину комнату – она постоянно на них натыкалась.

Тетя Витя этого явно не замечала. Она расспрашивала Тюпу о том, как она живет, и Тюпа заметила, что тетя Витя избегает называть ее прежним детским именем.

– А ты помнишь, – с притворной веселостью спросила Тюпа, – как ты называла меня «Пырцессочкой»?

– Пырцессочка, Пырцессочка! – засмеявшись, подхватила тетя Витя. И даже похлопала Тюпу по коленке, как в детстве.

Но больше она не повторяла этого прозвища и называла Тюпу только по имени. «Я ей все же чужая», – думала Тюпа, спускаясь по лестницам.

Вечером она пила чай с домашними и думала, что вот так же и тетя Витя пьет чай со своей самозванкой и, может быть, даже рассказывает ей что-то о Тюпе, как рассказывают о людях, с которыми жили когда-то в одной квартире. А может быть, они сидят сейчас все втроем с разутым поклонником и даже думать о ней не думают, будто и не было ее вовсе.

А потом Тюпа пошла к себе в комнату, расстелила постель, и квартирантку как ветром сдуло. Они снова были все вместе, и сидели на тахте, и смотрели телевизор, и гадали на «королей», и Футочка, который ночью всегда был жив,

терпеливо прикрывал лицо газетой, чтобы свет не мешал ему спать.

По снегу

Впереди по снегу скользит ее длинная-длинная тень. Тени всегда находят дорогу быстрее. Они первыми попадают в дом с вечернего поезда. Пока все целуются на пороге, они уже заглядывают в комнаты и за столом под низкой лампой первыми дотягиваются до всевозможных сладостей.

Тюпа идет по снегу, и он кажется ей осиянным под луной, отлитой из голубого льда. Чуткий слух собак уже издали улавливает ее ход. На зимние каникулы она приезжает сюда, в маленькое молдавское местечко, где живут ее бабка с дедом, где дома растут прямо из земли, из заснеженных садов, огороженных заборами, и где холмы вздымаются, как белопенные волны, остановленные в беге. Ее подруга Идочка сейчас, наверное, у телевизора и не подозревает ни о чем. Наутро Тюпа встанет и, не спрашивая разрешения, побежит на улицу, стукнет в окошко и увидит радостную, лохматую, еще в ночной рубашке Идочку. «Ой, Тюпа!» – засмеется та, и Тюпа угадает за стеклами ее низкий голос. А Идочка бросится открывать ей, и Тюпу встретит знакомый сладковатый запах дыма и пищи, стоящей на печи в маленькой бедной комнатке. Они обнимутся и станут радоваться, и погода будет тихой и снежной, и везде, куда они ни отправятся после, будет хорошо, хорошо, хорошо...

Она идет по снегу, и в ней замирает предчувствие встречи. Вот и калитка с железным кольцом. Она осторожно поворачивает его и погружается в темное, снежное, полузабытое. В ноги ей уже тычется узкая гладкая морда Пирата. Облако сползает с раскатанной до блеска луны, и снежный сад искрится, сплошь усеянный звездами.

Вот и дорожка к дому. Пират бежит рядом, подталкивая ее. Возле крыльца она останавливается и стучит, а он возбужденно крутится возле двери.

В комнатах слышатся возгласы, бабушка отодвигает засов. Безжизненная застекленная веранда на миг оттаивает.

– Тюпа, ты?

– Я, я!

Пират громко подтверждает правоту ее слов. Накинув платок, бабушка быстро пересекает веранду, отодвигает задвижку, и все втроем они устремляются в комнаты.

Этажерка с книгами, яркие чудесные открытки, заложенные под раму навесного зеркала, стол с чашками и сахарницей, дед, на корточках разгребающий уголь кочережкой, – все это приветствует и обнимает ее, и даже спустя годы она будет не в силах высвободиться из этих объятий.

Пока греется чай, она обходит комнаты, замечая про себя, что они меньше и проще, чем в ее воспоминаниях. Она усаживается на железную кровать с четырьмя большими набалдашниками, покачиваясь в гамаке пружинного матраца, и оглядывает спальню. «Это моя комнатка. Здесь я буду спать, а перед сном смотреть, как вокруг фонаря, что перед самым окном, мельчит снежная мошкара», – думает она.

Чай готов. Она кладет себе немного варенья, дует на блюдечко и все же обжигается. О ее ноги трется, громко мурлыча, толстая рыжая Муля.

На буфете за стеклом – фотография деда в молодости: он верхом на коне, бесстрашный красавец-командир. Совсем за другим стеклом – портрет бабушки-мадонны. Волосы на прямой пробор, классическая линия носа, широко раскрытые глаза. Почему пересеклись эти две судьбы? Всадник ли осмелился поскакать за своей невестой прямо к Господу или мадонна ступила однажды на землю? В любом случае это был час каких-то путаниц, неразберих. А теперь дед сидит со своей кочергой возле печки, сам тощий и крючконосый, как кочерга. В его глазах нет ни тепла, ни радости, только огонь из приоткрытой дверки пляшет в зрачках. Да и бабушка-мадонна давно уже забыла про свои небеса, уйдя в простоту деревенской жизни.

Ночь все плотнее обступает дом. Сад тяжело и снежно нависает над крышей. Телевизор прокручивает кадры из дедовой молодости. Ночью дед тоже, наверное, видит что-нибудь подобное. Даже Тюпа нет-нет да и увидит две-три секунды его жизни в одном из своих снов. Даже ее сыну достанутся какие-то

фрагменты то ли жизни, то ли битвы дедовой.

Сегодня так холодно, что Пирату позволяют остаться в доме. Муля недовольна, но жмурит на это свои глаза. Тюпа берет с этажерки первую попавшуюся книгу и отправляется к себе.

Кровать с набалдашниками стоит у печки. Она забирается под одеяло и открывает книгу. Это Свифт, старенькое-старенькое издание. Читает невнимательно, вперемешку с думами о завтрашнем дне. Из смежной комнаты сквозь стеклянную дверь помигивает телевизор. Гулливер вдруг превращается в красноармейца. Он громко разговаривает на неправдоподобном русском языке, а затем вскакивает на коня и становится ее дедушкой в стране гуигнгнмов.

Гордая и прекрасная бабушка восседает где-то совсем в другой стране, и там дед, по всей видимости, предстанет перед ней нелепым игрушечным человечком. Он будет размахивать своей бутафорской саблей и пищать что-то, надеясь на благосклонность бабушки. Но во сне их судьбы не совпадут, как не совпадают небывалые страны у Свифта.

Среди ночи Тюпа вдруг просыпается. Свет потушен, книги рядом нет. Фонарь с порхающим вокруг снегом напоминает ей, где она. Тюпа смотрит на это густое мелькание, и ей становится жаль ее родителей и всех тех, кто далеко и не видит этого фонаря, не знает этого дома с его мурлыкающей Мулей, с его уже остывающей печью и фотографией деда, гарцующего на коне.

Дороги эмиграции

Вместо предисловия

Посредине черной ночи —

Руки, поднятые ввысь.

Посредине черной ночи —

Кто простись, а кто – молись.

Посредине черной ночи

То ли падал, то ли плыл

Дом опустошенный отчий

Сквозь ладоней млечный тыл.

Восклицанье «Вена! Вена!»

Заставало вновь врасплох

И, как скрытая каверна,

Прожигало каждый вдох.

* * *

Автобус юлит над обрывом.

Дорога к границе – что к Господу на суд.

По таким неправдоподобным извивам

Лишь ангелы смерти преставленного несут

По его же замирающим мозговым извилинам.

Каждый чувствует себя распиленным

Или расколотым вследствие грандиозной аварии

На левое полушарие

И на правое полушарие.

Старая Сара

Тяжелая, больная Сара все время пыталась заплакать. Ей было нелегко вторую ночь сидеть в автобусе с жесткими креслами. Чулки на ее круглых ногах медленно расползались, и казалось, что Сарины ноги трещат по швам, как у старой ватной куклы. Сходство с куклой усугублялось свалявшимися тусклыми белыми волосами, которые Сара уже два дня не причесывала.

В конце автобуса возились дети, прячась между мягкими чемоданами и тюфяками. Тряска только забавляла их. Они с хохотом подпрыгивали и зарывались с головой в тряпье, брошенное поверх вещей на случай холода. Взрослые не делали им никаких замечаний, поскольку будущее оказалось в полнейшем разрыве с прошлым, и никто не знал, как вести себя в кратком промежутке настоящего.

За автобусом ехала машина с провожающими. Крупницы дома в лице родственников и друзей смотрели сквозь окна автомобиля. Поравнявшись с автобусом, провожавшие показывали что-то, знаками объясняясь в чувствах. Несколько раз автобус останавливался, и все бросались друг к другу и шли вместе, держась за руки. Дети кубарем скатывались на землю, расталкивали обнявшихся и мчались наперегонки до дверей туалета.

Сара почти не выходила. Во время передышек она при помощи своего мужа сползала с кресла и подолгу стояла возле него, тяжело дыша и пытаясь заплакать. Никто не обращал на нее внимания. Только ее супруг растерянно пытался чем-нибудь быть ей полезным. Он гладил ее по всклоченной голове, наливал чаю из термоса, оправлял заломившееся внизу платье. Сара, казалось, была бесчувственна ко всем этим проявлениям преданности. Она реагировала только на то, что происходило внутри нее.

Внутри Сары жила большая тяжелая болезнь, которая делала Сару чувствительной ко всем внутренним переменам и атрофированной к внешним. Муж Сары относился уже к внешнему миру. Его забота не проникала сквозь отмершие нервные окончания обвислой Сариной кожи. Он гладил Сарину маленькую, хоть и распухшую руку, а она смотрела куда-то в глубину своей боли. Так подходили к концу вторые сутки.

Ночь надвигалась откуда-то с севера. Все пледы были срочно брошены на детей и окна. Как назло, дорога стала крутой и извилистой, будто выход из страны пролегал через заколдованные места. Когда сбоку появлялся месяц, неприятно высвечивались рваные края обрывов, вдоль которых юлил автобус. Месяц от

этого зрелища заваливался на спину и хохотал, хохотал над людскими страхами.

Покачивались спящие деревни с худыми собаками, свернувшимися в калачики на люках под тусклыми фонарями. Все серее становилось небо. Злой месяц еще больше запрокинулся на спину и побледнел во сне.

К утру подъехали к воротам границы. Длинная очередь автобусов напоминала журавлиный клин. Шлагбаум поднимался, и следующий автобус навсегда отсекался от тела очереди.

Впереди был еще целый долгий день для прощаний. Холод заставлял двигаться. Все зашевелились, несмотря на ранний час. Дети выскочили первыми из-под пледов и потащили шатающихся помятых родителей к выходу.

На улице было полно отъезжающих. Утренний туман рассеивался, и теплела мокрая трава. Вдалеке на пригорке стоял памятник красноармейцу. Его поза и выражение лица должны были насторожить всякого, задумавшего пересечь границу в обратном направлении. Почему-то отъезжающие шли и шли к этому памятнику, как на последний поклон. Оказалось, что между двумя его чугунными ступнями было большое углубление, которое использовалось как отхожее место за неимением поблизости ничего другого.

Сара не двигалась. Ее глаза были полуоткрыты и мутны.

– Сарочка, – то ли позвал, то ли просто произнес ее имя муж и погладил серую руку.

Сара не отреагировала. Постояв немного около нее, муж робко пошел к выходу.

Солнце загоралось на траве и листьях. Расцвели птичьи голоса из попискивающих бутончатых комочков. Земля запестрела подстилками и расставляемой на них едой. Отъезжающие энергично затевали прощальный пикник. Автобусы двигались, но незаметно. Всех обещали пропустить к концу дня. Целый день на лужайке, на свежем воздухе. Если бы не запах от красноармейца, можно было бы побегать по пригорку.

Люди поднимались с подстилок, шли проверить свой автобус – издали все автобусы казались одинаковыми. Только наш автобус можно было сразу узнать по неподвижной Саринной голове в окне.

Сумерки наступили нескоро, поскольку никто не умел обращаться с этим последним днем. Все уже было сказано, но так как это не имело никакого отношения к будущему, казалось, что не было сказано ничего. Потом провожавшие стояли, обняв решетки ворот, за которыми всех готовили к последнему досмотру, будто и не было этого целого дня и целого года прощания. Поздно ночью автобус наконец пересек границу Чехословакии.

Первое утро освобождения катило всех по мягким, гладким дорогам. Никто не спал. Молча смотрели на игрушечные домики, аккуратные деревья. Природа, лишенная знакомой буйности, усиливала ощущение нереальности происходящего.

Первая остановка в сосновом бору. Деревянный домик заперт на замок. Кто-то побежал разыскивать хозяев.

– Как же красиво! – восклицал каждый, спрыгивая с лестничек на траву.

Последней вышла Сара. Ее поддерживали с двух сторон, чтобы она могла спуститься своими занемевшими ногами на землю. Кто-то уже бежал с ключами от домика, сопровождаемый пожилой женщиной в белом фартуке.

– Я хочу пить! – сонно закапризничал Сарин внук.

Все смотрели на приближающуюся женщину. Сара вдруг ожила. То ли оцепенение сошло с ее летаргического тела, то ли внутренняя боль прорвалась, как нарыв, и сделала Сару проницаемой для внешнего мира. Она затряслась всей своей изношенной, вылезавшей из швов плотью, сделала попытку приблизиться на негнущихся ногах к внуку и запричитала, барахтаясь руками в воздухе:

– Сиротка, бедный! Нет у нас больше дома! Безродные... Бездомные... Цыгане!

– Сарочка, успокойся! – обрадовался Сариному оживлению обреченный было на вечную безответность муж.

Но старая Сара уже опять не реагировала на внешние колебания. Слезы ползли длинными гусеницами и застревали во впадинах ее щек. Внук на минуту затих, с изумлением рассматривая говорящую бабушку. Замешательство продолжалось недолго – вскоре подросла женщина в фартуке, и все дружно отправились совершать свой первый утренний туалет на новой земле.

Венский вальс

Вена похожа на гигантский купол. Это не мы к ней приближаемся, это она опускается на наш поезд своим расписным небом.

Раз-два-три, раз-два-три!

Вот над нами уже своды вокзала. Вальсируем к выходу.

– Женщинам не поднимать чемоданы и не участвовать в разгрузке вагона!

Непонятно, то ли это нужно повторить еще раз, то ли каждому в отдельности следует уточнить свой пол. Представитель, встречающий нас, решает повторить это еще раз. Женщинам, ухватившим сразу по нескольку чемоданов и сумок, кажется, что просьба относится к каким-то другим женщинам, возможно, только к гражданкам Вены.

– Женщины, отставьте багаж в сторону!

Почему? Почему? Беспокойство нарастает. Мужчины не могут отличить своего багажа от чужого. Оказывается, что этого вовсе и не нужно делать. Женщины стоят большие, массивные, с обвисшими руками, напряженно вглядываясь в груды спящих вповалку вещей.

Вена плывет по кругу, вальсирует прибывшими, закручивает их по ступенькам на улицу. Раз-два-три, раз-два-три! Неподвижные женщины наконец сдвигаются

с места какой-то следующей командой и топчут, как медные всадники, к выходу.

На выходе человек с немецким акцентом призывает в рупор толпу к порядку и рассказывает правила расселения семей в Вене и пригородах. Он небрит. Он не улыбается. Он каждый день видит одно и то же. Но это неправильно. Он просто не любит нас. Поэтому он так помято одет. Предполагалось, что он будет в костюме по случаю и с речью. Мы ведь теперь отданы на произвол судьбы. Нам нет дороги назад. Нас нужно за это вознаградить.

Все-таки Вена круглая. Непонятно почему, но – круглая. Может быть, от четырех бессонных ночей и качки в автобусе. Все время так и заносит тебя вокруг твоей оси.

Любой эмигрант одет лучше, чем этот небритый.

Все перемещаются к небритому, чтобы дать ему взятку. Он предупреждает, что подарки не повлияют на место расселения. Никто не верит. В конце концов небритый оказывается в гуде русских сувениров, безразличный и усталый. Каждый отправляется на свое место жительства согласно ранее заготовленному списку. Это цинично.

Вена петляет скоростными дорогами. Водитель пытается уснуть на глазах у всех. Он, видно, профессионал по коротким передышкам за рулем. Огни выныривают из-за неожиданных поворотов и обрушиваются водопадом на сияющие автомобили. Все есть единый венский театр. Никто не верит, что вещи найдут хозяев. Луна ощупывает себя и понимает, что она искусственная. Другая луна подглядывает за ней и хихикает в облако.

Наконец-то высыпаем на морозный австрийский воздух. Приехали. Водитель взбодрился. Острые звезды покалывают веки. Острые башни – обледеневшие и черные. Хозяин приюта заставляет себя ждать. Приходится ходить кругами по пятачку палисадника. Раз-два-три! Раз-два-три! Вот он, идет. Говорит по-немецки, но с акцентом. Кое-кто подозревает, что он из наших. Заблуждение. Беглый румын. Потом уже становится ясно.

В холле сумрачно, но тепло. Никто не собирается давать взятки. Мечтаем уснуть, хоть где-нибудь. Тихо и быстро раздаются ключи. Каждой семье – по комнате.

Если в семье пять или больше человек – все равно по комнате. «Нет, это не справедливо», – трактует полуспящее сознание. «За все, что мы вытерпели, нам надо каждому – каждому! – по отдельной комнате. Прямо сейчас».

Прямо сейчас все тащатся по своим номерам и, вяло ругая хозяина, сваливаются на тюфяки. Вена кружится все быстрее и быстрее. Она перетасовывает огни со звездами, как карточный шулер. Люди в Вене рождаются под рампой с огнями, а не под созвездиями.

Хозяин приюта – еврей. Но никому от этого не лучше.

Мне уже лучше. У хозяина прекрасная постель. Уступил гостевую спальню на ночь, предупредив, однако, чтоб не пользовались душем. Наверное, за то, что мы были единственными, кто ни о чем его не просил. Спи, семья! Ребенок пахнет ванилью после нелегально принятого душа. Завтра. Все объяснения оставим на завтра.

Снится автобус, и кочки, от которых подташнивает, и раскоряченный памятник красноармейцу на границе.

Потом уже ничего не снится.

Первая скрипка

Беженцы ели свой обед. Мадам Виннер, демонстрируя отвращение, прошла в кухню. «Шмутциг! Шмутциг!»[1 - Грязно! (нем.)] – говорила она как бы самой себе, и двадцать хозяек на минуту переставали сыпать и лить в кастрюли.

Она терпеть не могла этих беженцев, запрудивших некогда любимое ею пространство. Их мелочная кухонная жизнь, с подсчетом круп и консервов, никак не вязалась в ее представлении с тем почти библейским исходом, которому она решила пожертвовать три последних года своей жизни. Уже первые беженцы поразили ее своей обыденностью и включенностью в прагматику. Они пытались выпросить себе комнату получше, волновались за свои чемоданы и не испытывали никакой благодарности к мадам Виннер. Это

были просто люди, обыкновенные люди, не желающие расставаться с привычным укладом своей уже в щепки разлетевшейся прежней жизни. Мадам Виннер раздражала неподобающая самостоятельность и вызывающая независимость разросшихся по ее комнатам и уже пустивших в них корни постояльцев.

- Шмутциг! - И метла пошла стегать ножки стульев в холле, где ели беженцы.

- Папа, не тянитесь, не тянитесь, я все положила вам на тарелку, - заталкивая все гласные в нос, сердилась хозяйского вида уже не слишком молодая беженка.

Тот, кого называли «папой» - сухой породистый бессмысленный старик, - отдернул руку и стал блуждать взглядом поверх тарелок.

- Папа, ешьте! Вам надо особое приглашение? - роняя изо рта картофель, произнес ее муж.

Крохотная бабушка, сидящая рядом с тем, кого называли «папой», немедленно надкусила хлеб и наколола на вилку кусочек мяса - мол, а я вот, ем.

Беженкин муж хрустел куриными косточками, сплевывал, отирал горстью губы и ею же охаживал лысину после особенно вкусного куска. Он энергично ел и говорил что-то своей беженке, и слова выпадали из его рта вместе с кусками пищи. Она смеялась и кивала и тоже отирала рукою губы, и мочки ее ушей, сросшиеся с щеками, постоянно шевелились.

Негодующая мадам Виннер мела на едящих.

- А смотри, ей идет эта метла, - проворачивая языком по деснам и сглатывая остатки, сострил беженкин муж.

Сама же беженка наклонила голову и, как курица, боком взглянула на хозяйку.

- Мама, ешьте же, ешьте, - вдруг раздражилась она.

Старушка затряслась над пустой тарелкой, беспомощно выискивая спасительную крошку. Но крошки не было, и она, дабы не гневить дочь или

невестку, покорно облизала ложку.

Встрепенувшаяся беженка стала складывать тарелки в стопку, выскабливая остатки и выкладывая их на бумагу. Муж громко срыгнул и отер губы. Мадам Виннер бросила метлу посередине холла и, тыча пальцем в группу молодых людей, стала требовать, чтобы они продолжили начатое ею дело.

Беженка с пятью тарелками и кастрюлей, которые полностью уместились по длине ее тела, побежала на кухню.

Беженкин муж взглянул на великосветского, в прострации, деда, поводит языком по деснам и так же, без интереса, посмотрел в окно. Обед закончен.

– Ну что? – сказал он окну.

Мальчик лет семи, с беззащитно увеличенными оптикой очков глазами, наконец, выделился из угла и попытался встать из-за стола.

– Сиди еще! – приказал беженкин муж, заталкивая пальцами слова назад в рот.

Стрекозиный мальчик завращал глазами и снова растворился в углу.

– Охо-хо, охо-хо! – пропел беженкин муж и погладил свободной рукой живот.

За окном смеркалось. Чистые австрийские сумерки.

– Охо-хо, охо-хо! – снова пропел он.

Несколько ребят из группки, в которую тыкала мадам Виннер, со смехом переворачивали стулья сиденьями на столы и мели по очереди ведьминской метлой.

Включили свет, но из пяти лампочек зажглись только три, и половина холла осталась в темноте. Заработал телевизор, дети бросились в первые ряды.

Стрекозиный мальчик тоже поднялся, и отец с сытой гордостью посмотрел, как он занял место во втором ряду, уступив более удобное малышу, не успевшему подскочить первым.

– Э-эх... – удовлетворенно протянул он и подмигнул деду, который продолжал держаться лордом, несмотря на порабощающий его сон. – Тонкая душа...

Мальчик был гордостью семейства. Его музыкальная одаренность проявилась рано, и он занял особое положение в семье, будучи не похожим ни на одного из родственников. Его не баловали, но и не были излишне придирчивы и только старались выполнять все, что советовал учитель по скрипке. Между мальчиком и родителями не было особого общения. Ребенку просто старались дать необходимое и так выражали свою любовь.

Два месяца назад, поздней ночью, вместе с несколькими десятками других беженцев их высадили возле пансионата мадам Виннер. Всех завели в тусклый холл и стали вызывать к столу глав семейств. Эта процедура почему-то сильно встревожила ребенка. Он долго и внимательно слушал, о чем говорили взрослые возле стола, и немецкий язык, на котором изъяснялся хозяин пансионата, зять мадам Виннер, напомнил ему о чем-то, то ли из фильмов, то ли из бабушкиных рассказов.

Родители видели, как напряженно вслушивался ребенок в переключку, как слегка побледнело его и без того бледное лицо. Наконец, назвали и их фамилию.

– Мееровитш! Мееровитш! – позвал хозяин, чуть раздражаясь от усилий, с которыми нужно было произносить среди ночи незнакомые фамилии.

– Меерович, Меерович же! – снисходительно смеясь, поправил его беженкин муж, собираясь продвинуться к столу.

Но тут мальчик неожиданно оттолкнул отца и стремглав подбежал к хозяину, прижимая к себе футляр со скрипкой.

– Я, я Меерович! – произнес он звонко, чуть запыхавшись.

Мадам Виннер удивленно наклонилась к нему через плечо зятя, чудовищно расплывшись в линзах его стрекозиных очков. Ребенок чуть отступил, но твердо повторил:

– Я Меерович...

В этот момент он чувствовал себя единственным защитником и спасителем своей семьи. Он готов был разделить участь мужчин, стоящих на том конце коридора в ожидании чего-то, ему неизвестного. Поезд, покинутый дом, вокзал, пограничники – все вдруг обнаружило свой страшный смысл и вылилось в душе ребенка в бурную симфонию жизни и смерти, где ему надлежало исполнить свою первую скрипку.

В холле наступило гробовое молчание. Обостренные недосыпанием человеческие нервы уловили ту единственно верную волну, на которой мыслил и чувствовал этот мальчик. И женщины вдруг запричитали, и стали притягивать к себе своих и без того смиренно сидящих полусонных детей.

– Руиг, руиг![2 - Спокойно! (нем.)] – раздраженно восклицала мадам Виннер. Но это еще больше возбудило толпу.

И тогда зять мадам Виннер обратился ко всем на идише, чего никогда не делал с момента своего побега в Австрию.

Все постепенно успокоились и разошлись по своим комнатам.

Наутро мадам Виннер мела затоптанный за ночь пол, негодуя на постояльцев и пылая в столбах солнечной пыли.

Последняя осень

Марк Перельштейн, в прошлом румынский беженец, ныне господин Виннер, хозяин загородного австрийского пансионата для беженцев из России, ностальгировал по слякотным румынским сумеркам. Он ностальгировал по глухому двору с оброненными отзвуками собачьего зевка и петушиного

всполоха, по стекающему с карниза небу, размазывающему осенний мир по стеклу расползающегося глиняного домика. В последнее время ему все чаще снились запахи навоза, прелого сена, темный угол сырого сарая с воздушными лоскутами паучьего плетения. Во сне он разгуливал по закоулкам своей памяти и отыскивал все новые и новые места – какие-то балки, лазы, ниши, куда можно было забираться до утра.

Утро наступало безжалостно ясное, без единого облачка и с резким холодным солнцем над Альпами. Переход от сна к яви задерживал его в постели до появления в дверном проеме ванной энергичного лица жены с четким рисунком закрученных, как бараньи рога, ноздрей.

Это была последняя осень жизни с беженцами. К весне намечалась полная реконструкция пансионата, и господин Виннер представлял себе глухую зимнюю заброшенность дома с убранной мертвой кухней и поцарапанной от шахмат и столовых приборов поверхностью столов в обеденном холле. Ему представлялось, как он будет стоять посреди этой тишины поздним утром и слушать, как сами по себе скрипят половицы и дрожит в конце коридора солнечный блик, будто кто-то толкнул дверь к себе в номер. Он даже видел этого «кого-то», полу его тяжелого халата, стершую пыль с дрогнувшей половицы.

Что-то было такое в этой последней осени, что больно отзывалось в самых глубинах виннеровской души. От этого он еще острее замечал отрицательные стороны беженства, разрушающего стены его дома и не понимающего, сколь добр был господин Виннер, жертвующий собственным семейным покоем во имя эмигрантского временного благополучия на чужой земле.

К ноябрю в холле стало тише, по утрам почти не тарабанил душ на этажах. Беженцы задумчиво сидели над шахматными досками, которые напоминали желто-коричневые осенние дороги. Играющие не торопились с ходами, тщательно продумывали их, будто собственные судьбы, и от этого были немного похожи на волхвов. Виннер все чаще останавливался возле них, смотрел на доски, один раз даже попытался подсказать какой-то ход, но никто не обратил на него внимания.

С середины ноября он начал ощущать собственную полупризрачность. Иногда останавливаясь напротив окна, что у входа в кухню, он делался почти невидимым в сокрушительном солнце, и на него невзначай наталкивались,

сердцясь и не всегда узнавая. Еще летом это могло бы вызвать в нем возмущение, но сейчас он даже испытывал какое-то наслаждение от своей слитости с эмигрантским миром. Ему нравилось, когда его мимоходом принимали за кого-нибудь другого, обращаясь издали по-русски. Однажды у него возникла фантазия, что он напоминает кого-то из беженцев, проникает в содом беженской семьи и наслаждается по вечерам пустыми разговорами о ценах на базаре за связку бананов и кухонными сплетнями.

Ему все острее хотелось беженского тепла, той житейской суетливой безыскусности отношений, которая вносила смысл в каждый день бытия. Он выбрал для своих фантазий немолодую женщину Фаину, в толстом пыльном халате путешествующую по коридорам. Ее чувственное доброе лицо мягко колыхалось при ходьбе вместе с мешочками под круглыми голубыми глазами, и это усиливало впечатление доброты и тепла, исходившее от нее. Он украдкой наблюдал, как она крупно резала овощи на борщ, крепко и мягко держа их в своих сдобных ладонях. Марк представлял, как пахнут ночью эти ладони – кухней, стиркой, домом. Сворачиваясь калачиком, он перед сном погружал себя в комнатку, заваленную чемоданами и Фаиной спящей семьей, занимающей четыре кровати и раскладушку. И это было ему наградой за холодное пожелание «спокойной ночи» на немецком, вежливо произносимое двумя его девочками.

Однажды Фаина не появилась ни на кухне, ни в холле, и коридор пусто зиял в часы ее обычного прохода по нему. Старуха Виннер бросила в стирку постели, на которых три недели изнывала Фаинина семья, пропылесосила ковер и заперла двери на ключ, как бы подытожив все, что было связано с отбывшей фамилией. Марк вернулся только через два дня после Фаиноного отъезда, увезенный женой куда-то в горы на выходные. Он вошел в столовую и по отсутствию кислосладкого запаха Фаиноного борща понял все.

Стали быстрее осыпаться листья. Старые беженцы постепенно рассеивались, новые не прибывали. Госпожа Виннер каждое утро садилась в автомобиль и укатывала в блестящую венскую, чуждую господину Виннеру жизнь. Автомобиль поднимал вихрь листья, и прилив осени захлестывал пансионат с его обшарпанными стенами и башнями. Господин Виннер смотрел вслед автомобилю и радовался этой прихлынувшей на мгновение лиственной красоте. Потом он возвращался в дом, доставал счета и принимался за свой однообразный труд. Сведение чисел, перепроверка и нахождение верного результата в последнее время все больше увлекали его. Счет придавал видимость определенности и осмысленности его жизни. Он даже временами радовался, что ему больше не

отправляться по размытым пестрым дорогам жизни, как его постояльцам.

К концу ноября Виннер уже почти не покидал своего кабинета. Вечерами можно было видеть его профиль, склоненный над бумагами в окне второго этажа. Когда в доме тушили свет, это единственное окно болталось между созвездиями символом космического одиночества.

Потом выяснилось, что господин Виннер немного простудился в горах. Оставшиеся постояльцы ежедневно справлялись о его здоровье у старухи Виннер на полуидише. Уезжая, они махали по направлению виннеровского окна в качестве ритуала. А он все писал и писал свои числа, будто стараясь упорядочить расплывающееся осеннее мироздание.

В декабре уже никто не справлялся о его здоровье. Пансионат опустел, всех благополучно переправили в Италию, и старуха Виннер отдыхала, расставив ноги, на низкой скамейке посреди зимнего безмолвия.

Пески Нахума

Люди покидали Украину, люди покидали Россию, люди покидали, покидали, покидали... Их дома какое-то время смотрели остекленевшими взглядами на подмерзающие сумеречные дороги, как смотрит недолго тело вслед душе. Но вскоре окна теряли интерес ко всему внешнему и, вытянувшись по стенам, равнодушно и мутно отражали улицы.

Люди покидали свой обжитой мир, а он все равно вскакивал в последний миг на подножку автобуса и прижимался к коленям сумками и одеялами.

– Господи-ты-боже-мой! – вздыхал кто-нибудь во сне, ощущая тепло этого сбежавшего и прильнувшего мира.

Старый Нахум не спал. Закрыв глаза, он отправлялся в свой тяжелый путь по пустыне. Много лет шел Нахум по горячим пескам, но в последнее время ему было все тяжелее вытаскивать ступни из зыбкой сыпучей глубины. Нахум даже стал подозревать, что пески пошли более глубокие, и однажды он замерил

погружение ноги и запомнил, что песок был выше щиколотки. Но он не рассказал об этом Енте, которая всегда ждала его, съездившись возле самого Нахумова сердца. Ента не должна была знать об этом. Ента должна была ждать Нахума и потом приготовить ему поесть и напоить его после странствий.

Нахум шел, чтобы говорить с Богом. Никто во всем мире не мог говорить с Нахумом так, как Господь. А с годами непонимание Нахума и мира лишь углублялось.

– Ну что ты сидишь, ну что! – сокрушалась все чаще Ента, с опаской поглядывая на неподвижного Нахума.

Нахум чуть поворачивал голову в сторону Енты и снова возвращался в исходное положение. Никто не знал, как уставал Нахум от изнурительных хождений по пескам. А пожаловаться было некому да и незачем. Только однажды он вскользь обронил Богу:

– Трудно мне стало идти к Тебе, Господи. – Но вспомнил усталый голос Господа и больше уже никогда не жаловался.

Люди покидали свой дом, а он бежал за ними по пятам, хватая их за руки, и они, не выдержав, сгребали его в охапку и прижимали крепко к груди и лицу. Стороннему наблюдателю казалось, что им делается дурно или они рыдают себе в ладони. Но они всего лишь стискивали свой дом в объятиях и каялись, что хотели бросить его одного, будто беспризорного, посреди темного насупившегося города.

Ента тоже прикладывала дом то к одной, то к другой щеке, и его благодарные поцелуи никак не просыхали во впадинах под ее скулами.

Сам факт перемещения потрясал отъезжавших, которым приходилось мучительно и медленно, по частицам, отрывать себя от дома, воздуха и всего, что было ими. Они были готовы ко всему, только не к этому.

Людей пугало движение, потому что оно имело одно смертоносное свойство – необратимость. Это было движение-убийца, отсекающее от себя пласты пространства, которое хранило в себе энергию их жизни. Без их глаз, они знали, ветер быстро развеет все, что накопилось в нишах обжитой ими вселенной.

Нахум понимал их боязнь, но чувства его молчали. Он давно уже потерял страх – с тех пор как пошел по своим пескам, не зная конечной цели этого пути. Тогда-то дом и перестал неволить его. А вскоре вообще оставил Нахума в покое, полностью переключившись на Енту и вращая в нее своим обманчивым младенческим телом.

Ента баловала дом и все сильнее привязывалась к нему, мыла, холила, украшала.

– Негоже человеку украшать свое жилище, – говорил Нахум Богу. – Негоже вращать душой в каменные стены. В камнях замурованы идолы.

– Человек должен радоваться, – отвечал ему на это Бог. – Пусть украшает свое жилище, чтоб душа его не грустила.

– Не должен еврей привязываться к камню, – упрямо и тихо повторял Нахум. – А украшать без любви – все равно что прелюбодействовать.

– Почему ты боишься стен, Нахум? – спрашивал Бог. – Стены защищают тебя...

– Где это видел Ты, чтоб еврея стены защищали? – хмыкал Нахум. – Стены только губят нас, требуют жертвы, как идолы, как раз когда самое время бежать.

Нахум возвращался к себе, а Бог оставался какое-то время на том же месте, и оба раздумывали над сказанным. И Нахуму приходилось снова и снова проделывать свой изнуряющий путь, чтобы продолжить беседу.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Грязно! (нем.)

2

Спокойно! (нем.)

Купить: https://tellnovel.com/ru/zubareva_vera/angel-na-vetke

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)